

## “Кто-то же должен быть с ними!”

О рассказах Елены Тулушевой и об их авторе

*Елену Тулушеву начинающим автором не назовёшь, хотя пишет она всего два года. В литературу Елена пришла сложившимся человеком. В 27 за её плечами Московский институт клинической психологии, аспирантура. Работа во Франции и Соединённых Штатах (в рамках проекта “Духовность для детей”). Скажут: “Экая везуха!”. Но вряд ли любители “везухи” согласились бы по примеру Елены заниматься с неблагополучными подростками из гетто Лос-Анджелеса, куда даже свирепые американские копы предпочитают не соваться!*

*Вернувшись в Россию, она продолжает ту же работу с молодёжью столичных окраин. Елена — старший медицинский психолог в реабилитационном центре для подростков, переживших насилие, а также страдающих алкогольной и наркологической зависимостью. “Мы пытаемся дать им возможность посмотреть на мир по-новому. Предложить вариант другой жизни”, — говорит она.*

*Как-то я спросил Елену, не жалеет ли, что посвятила жизнь работе с таким малосимпатичным в большинстве, а зачастую и агрессивным контингентом. Казалось бы, обладательница красного диплома престижного столичного вуза, могла бы найти место получше. Ни минуты не раздумывая, как о чем-то давно решённом, сказала: “Кто-то же должен быть с ними!”.*

*Тулушева не из тех, кто может удовлетвориться заботой о неблагополучных с девяти до шести. В свободное время она активно занимается волонёрской работой. Выступает по радио и телевидению, рассказывая о трагедиях наркозависимых ребят.*

*Писательство для Елены — ещё одна возможность продолжить борьбу за своих подопечных. Герои её рассказов — реальные люди. С каждым она работала ни один день, пытаюсь понять, где истоки обрушения молодых судеб. И теперь даёт им высказаться, а подчас и выплакаться (рассказ “Виною выжившего”). А это уже немало.*

*Она пишет в жанре нон-фикшн, самом популярном сегодня. Популярном, но и уязвимом: при поверхностном чтении может показаться, что здесь не требуется искусство, дескать, литература такого рода рождается сама собой, знай записывай. На самом деле, нон-фикшн требует даже большей творческой изощрённости, чем традиционная проза.*

Подчеркну ряд несомненных достоинств авторской манеры Тулушевой. Точно выбранные социальные типажы. Того же Славу из одноимённого рассказа легко узнать на фотографиях ребят из Бирюлёва или с Манежной. Органичная речь — язык столичных окраин. Разумеется, он далёк от того упругого, разнообразного, душистого языка, к которому нас приучила деревенская проза. Но на асфальте, заплёванном и стылом, говорят по-другому.

Художественно выразительные детали. В рассказе “Мамы” подросток, узнав, что его вырастила не родная мать, по-иному смотрит на неё: “Он заново изучал это чужое лицо”. Сказано с характерной подростковой безжалостностью. И беззащитностью.

Рассказы компактны и динамичны — результат тщательного отбора материала. Особо отмечу объективизм. Редкое качество. В отличие от большинства сверстников, норовящих не просто “войти” в созданный ими текст, но и заполнить его своим присутствием, Тулушева держится в стороне, предпочитая внимательно наблюдать за героями. Они занимают всю сцену, действуют, думают, печалются, злятся. Это придаёт повествованию энергию и убедительность.

Иной раз такая манера выходит Елене боком. На форуме молодых писателей в Липках, где её рассказы обсуждали на семинаре “Нашего современника”, многие требовали от автора “перевоспитать” скинхеда Славу, одержимого эгоистическим юношеским “богоборчеством”.

Так и хотелось сказать: не нравится герой? Ну, так и автор от него не в восторге. Изображая Славу, Тулушева рассказывает о явлении, присутствующем в молодёжной субкультуре, влияющем на жизнь общества. Слава — типичный скинхед со всем комплексом идей, устремлений, фобий этих злых и несчастных ребят, выброшенных на обочину жизни. Желаете “исправить” таких, как он, — идите к ним! Научитесь говорить с ними! Между прочим, именно этим и занимается Елена в реабилитационном центре, пока вы “благодетельно” резонёрствуете.

И последнее, на что обращаю внимание читателей. В рассказах Тулушевой впечатляет разнообразие форм повествования. Вместо стандартного пересказа происходящего от лица автора здесь и внутренний монолог (рассказы “Слава”, “Виною выжившего”), и напряжённый диалог (“Мамы”). И это не просто демонстрация технической “оснащённости”. Это приём, позволяющий читателям глубже проникнуть в мир героя, взглянуть на жизнь его глазами.

Не могу не упомянуть о рассказе “Когда я умру, я стану собакой”, хоть он и не вошёл в подборку (выбивается тематически). Это виртуозный монтаж двух параллельных диалогов. Молодая пара лениво переговаривается в номере курортного отеля. А в углу негромко работает телевизор — там свой сюжет с драматическими поворотами. Время от времени парень пересказывает происходящее на экране подруге, лежащей на кровати. Автор ни единым словом не обозначает своего отношения, но читателю и так ясно: эти двое, несмотря на физическую близость, предельно разобщены. Им нечего сказать друг другу.

Я сам не раз писал о разобщённости людей, о формах социальной солидарности, о необходимости помощи обездоленным, о волонтерской работе. Мне близка нравственная основа деятельности и творчества Елены Тулушевой. С удовольствием представляю читателям её первую публикацию.

Александр КАЗИНЦЕВ

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА



## СЛАВА

Звонок в дверь. Вот уроды, к матери что ли? Скоро вроде Рождество, наверняка кто-то из ее церковных, кто еще придет в такую рань, когда у страны двухнедельный запой — только эти, святоши. Башка раскалывается. Надо Филу набрать, сегодня хоть выйти освежиться. Что ж так долго не открывает?! Убил бы, весь мозг прозвонили!

Не вынимая головы из-под одеяла, он нащупал на полу липкий мобильник. Дрянь какая, опять залили. На раздражающем глаз дисплее высветилось 7:30. — Что за... Ну это уж слишком! К матери в такую рань никогда не приходили. Совесть-то у них должна быть... Или не к матери?.. — неприятный холодок пробежал по хребту до самой макушки. — Спокойно, что дергаться, уже три дня прошло. Черт, в голове застучало, как молотком. “Славик, тебе же врачи говорили, нельзя пить столько — у тебя давление!” — скривя лицо, он спародировал мамину интонацию. — Забавно. Он начал вспоминать лысого Игоря Владимировича, который через тройные бифокалы внимательно разглядывал волны его ЭКГ: “Ну и куда ж вы, молодой человек такими темпами приедете? Сначала алкоголь, потом пьяные выходки, незащищенные половые связи, наркотики... а с вашим сердцем, не дай Бог!” — Да уж, мужик, тебе-то Бог явно всего этого не дал, так что не завидуй.

Воспоминания оборвал повторившийся звонок. Неожиданно для себя он съезжился и вжался в спинку дивана. — Да что это я? Сейчас мать откроет или спровадит, кого там принесло. — В коридоре послышались спешные шаги, а из спальни — недовольное ворчание отчима. Секунды превратились в тягучую смолу. — Почему не открывает? — Поддавшись какому-то животному страху, он вытащил голову из душного тепла и начал прислушиваться.

Мать явно была растеряна, открывала медленно, осторожно. Мужские голоса. — Неужели все-таки к нему?! — Забыв о тяжести похмелья, он в одном скачке дотянулся до двери и задвинул щеколду. Глупый детский каприз, когда он потребовал от матери замок на дверь, кажется, впервые в жизни помог ему почувствовать себя в безопасности. Тогда, в двенадцать лет, его раздражало ее вторжение в самый разгар игры в “приставку” с ребятами с ее стандартными “мальчики-не-хотите-покушать”. Он нахмурился — сейчас не время для детских воспоминаний, надо срочно прийти в себя.

— Вот, пожалуйста, ордер на обыск, — послышалось размеренно из коридора. — Да вы не переживайте, вы же знаете — Слава у нас на учете давно. Разговор, конечно, серьезный. Думаю, он сам сейчас все расскажет.

— А обыск зачем? — голос матери звучал встревоженно. На него накатил паника. Он замер, зацепившись взглядом за книжную полку. — Черт, книги! — Две полки готовых улик, все вперемешку. — Скорей, думай же!

Стук в дверь. И следом бешеный стук — сердце.

— Слава, к тебе пришли. Из милиции. — Мать всеми силами старалась придать голосу твердость и спокойствие. Получалось плохо. Задрожав, как в детстве после холодной речки, он с трудом нарочито безразлично выдавил:

— Ща, мам, я голый. Сейчас штаны натяну.

— Может, вам пока чаю? Давайте я документы заодно поищу. У него выписки есть, характеристика из колледжа хорошая. Мы тогда для комиссии брали, после их собраний на Манежной площади, помните?

— Да уж как не вспомнить, Татьяна Борисовна. Собрание вышло у них на славу. Это уже какой — третий его привод был? Давайте, несите бумажки, они ему пригодятся.

Думай, думай же! Ты же умный! Среди всех этих тупых баранов ты из тех единиц, которые реально понимают суть движения. Вот они — доказательства твоего интеллекта — черные обложки, затертые страницы... Это же могила — точно зона!.. Окно... Еще темно, холод, все спят, никто не услышит! Он подбежал к подоконнику — от рамы потягивало зябкой промозглостью, на улице медленно падали редкие снежинки. — Плохо, не заметет — вдруг найдут? Хотя как докажут? Тогда, на Манежке, у них даже на камерах мелькала его фигура — и то не сумели, не пойман на месте — не вор. Пришлось отпустить за неимением доказательств. Скорей, в запасе минуты две, не больше.

Старые расшатанные стеклопакеты открылись бесшумно. Он сгреб с полки полную охапку, свалил на подоконник и неловкими движениями начал выкидывать книги как можно дальше в окно, чтобы не ударились о балконы или карнизы нижних этажей. Внутри все кипело. Казалось, он теряет драгоценное время, не в силах поворачиваться быстрее. В любой момент они могут ворваться. Вторая полка, самое дорогое, его любимое. Книги будто цепляются за шкаф, возмущаются. Их совсем немного — но этого достаточно, чтобы все сломать. Последняя партия почти растаяла в окне. Осталась только она — его гордость, святыня, книга “великого тирана”. Он в ярости крутился по комнате, пытаясь пристроить ее куда-нибудь, где не найдут.

— Идиот, раньше надо было думать, никаких секретных мест или лазеек. Все на виду. Эта привычка с кадетского корпуса — там быстро “объясняли” новичкам, что такое “прятать”: твои вещи никогда не могли быть только твоими, если ты не из сильнейших. Три года кадетства — три года тоски, унижения, бесконечной борьбы за выживание. Он так и не смог простить матери все эти скитания — пятидневки в саду, лагеря на все три смены и, наконец, — подобие армии для сотни брошенных мальчишек. Первое время он тайком плакал, каждые выходные жаловался ей, просил забрать, обещая прекратить школьные драки и прогулы. Она только разводила руками: у нее работа, надо на что-то жить, тянуть его в одиночку, совсем не остается времени за ним следить. Он кивал, старался понять, вытирал слезы и снова возвращался туда каждое воскресенье. Он старался, но так и не смог простить. Там было совсем не так, как показывали в старых военных фильмах. Чтобы выжить, нужно было драться. Постоянно, за все: за очередь в душ, за вторую котлету, за свою койку у окна. Он дрался с яростью, мысленно представляя

в каждом обидчике пьяного отца, которого так и не запомнил. Он с недетской жестокостью бил в лицо, под дых, представляя, как отец корчится от боли. Сначала он дрался, чтобы выжить, защитить себя, затем, завоевывая все больший авторитет, он дрался уже просто, чтобы удержать позицию. Ему нравились восхищенные взгляды ребят, когда он входил в “качалку”, нравилось чувствовать бешеный стук сердца, привкус крови во рту.

Стук сердца... Сейчас оно билось так быстро, будто боялось, что скоро замолкнет. Прятать некуда — последняя книжка полетела в окно. Он глубоко вздохнул, вытер потные ладони о простыню, натянул домашние треники и направился к двери.

— Здрасьте, а вы ко мне? — он не пытался сделать вид, что удивлен.

— Ну привет, Слава. К тебе, давно не виделись, — лицо лейтенанта изображало пародию на улыбку. Второй с раздраженно скучающим видом мешал сахар, мерзко позвякивая ложкой. Звук отдавался в голове долгим эхом.

— Да вроде не так уж и давно, — просиял как можно более беззаботно Слава, — с прошедшими вас!

— Ну что, сам расскажешь или освежить твою память? — поздравление с праздниками не добавило лицам гостей доброжелательности.

— А что, случилось что-то?

— Значит, освежить...

— Мм, да вы начните, а я, может, вспомню. Сами понимаете — Новый год, каникулы. — Желудок начал ныть и выкручиваться, к горлу подступила тошнота, во рту пересохло.

— Где ты был в ночь с первого на второе января?

Конец. Время остановилось, стук внутри тоже замер. Они знают. Откуда?! Это точно конец. Сколько раз все проходило гладко, неужели Фил? Да нет, не мог он. Хотя если взяли с чем-то, надавили, мог и сдать... Сами идиоты, без масок вышли. Но ведь смотрели по сторонам — никого вокруг. Этот второй не мог знать ни имен, ни адресов. Он и опознать бы их вряд ли смог — темно было, все на одно лицо. Сколько таких ходит по району в праздники. Не доглядели. Да что там — в пьяном угаре можно и не такое проглядеть.

Главное — не молчать слишком долго, а то точно уцепятся. Так, пришли в 7:30. Значит, боялись не застать. Значит, дело еще не завели — выслали бы повестку, наверно. Возможно, ничего у них и нет, пришли так, просто подозревают. Районная база состоящих на учете не такая уж большая, вот и ходят, выискивают, может, кто сам дрогнет — сознается. От этих мыслей стало легче: вывернусь. Презумпция невиновности, всё такое.

— Ну, с первого на второе... я как все! — так же безмятежно улыбнулся он.

— Как кто — все? — Тот, что пониже ростом — Павел Сергеевич — начал заметно раздражаться. Он лично вел дела Славы, был его “куратором”. Нормальный в принципе мужик, сколько раз болтали вне стен отделения, бывало смеялись вместе. Но сейчас... сейчас он смотрел совсем другому, как будто у себя в кабинете, полном других ментов. Может, дело во втором, что пришел? А зачем они пришли вдвоем, раньше такого не было... Спокойно, надо прекращать улыбаться, лучше прощупать, что у них реально есть.

— Как все — пил с ребятами. Потом еще с девчонками из колледжа. Вы скажите время, чтоб я припомнил.

— Время, Слава, с 23:00 до полуночи. Ну и, собственно, после полуночи тоже.

Знают. Пропал. Всё сходится. Лицо начало гореть, на лбу выступили капли пота. Теперь бы понять, как много они уже знают, да не сказать лишнего.

— Думаю, мы гуляли. Вроде... Да, гуляли по району, петарды пускали. Ничего особенного.

— Ну да, действительно. А что было потом?

Просто дают, разводят. До последнего надо отпираться.

— Да всю ночь и гуляли. Потом... под утро домой. Вроде.

— Да, он пришел около пяти. Ключ не взял, мне пришлось открывать, — все это время мать молчала, боясь пошевелиться.

— Татьяна Борисовна, ваши показания нам понадобятся позже! — мать невольно замолчала, оборванная на полуслове, и начала бесцельно переставлять предметы.

Они и правда начинали злиться. Пятое января, 7:30, выезд с обыском. За смену заплатят по праздничному тарифу, но все же они надеялись провести ее в теплом кабинете, по очереди отсыпаясь и просматривая повторения новогодних “Огоньков”. Но на них повесили эпизод с нанесением тяжких телесных повреждений, да, возможно, еще и по 282-й статье. А с нынешним мэром вся верхушка готова выслуживаться по этой линии, целые блоки профилактической работы разработали. На бумаге, конечно, но трудились же. И вот тебе — малолетние придурки не рассчитали силы. А по шапке получит весь отдел.

— Слава, мы тут до ночи сидеть не будем. Или сам расскажешь, или посидишь у нас сутки, поумнеешь.

— У вас? Да что он сделал? Он мой сын, я имею право знать, с какой целью вы его допрашиваете! Он несовершеннолетний! — голос матери звучал истерически.

— Татьяна Борисовна, — уже на повышенных тонах продолжал Павел, — ваш сын, Слава, подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений в виде ножевых ранений. Радуйтесь, что еще не с летальным исходом. Но это — уже возможно реальные сроки, а не условка. А это, соответственно, значит — и вам, и Славе стоит с нами сотрудничать. Вы меня хорошо понимаете?

“Радуйтесь, что не с летальным”?! — Идиоты, не добились, не проверили. Баран, надо ж было так, ведь нож был, столько ударов — все мимо что ли?!

Голова закружилась. Перед глазами замелькали едва сохранившиеся в памяти картинки. Он выходит из дома с ножом. Просто так, весь день пил, и адреналин зашкаливает. Фил и Лось ждут у подъезда. Пьяные. От холода, наверное, их понесло. Им весело и хочется беситься, как в детстве, тупо громко ржать и бегать. Провал. Сколько прошло времени — час, два? Потом картинка: убегающий мужик под их громкие улюлюкивания... Жалкий трус — сбежал, бросив дружка на расправу. Его уже повалили и дубасят ногами, прыгают, довольно скалятся. Это вкус власти над чьей-то жизнью, с каждым разом он всё сильнее и сильнее. А потом — нож. Он не мог вспомнить, в какой момент достал его, и как решил... Да вряд ли он вообще мог тогда думать. Картинки сменяли друг друга, как за окном поезда. Он ударил его ножом, он помнил это ощущение — раньше не знал, как это — когда лезвие протыкает кожу, входит в мышцы, застревая меж ребрами. Раньше он дрался только руками и кастетом. Было холодно, от удара рука начала заливаться теплой кровью этого уroda. Это было чем-то новым, и он вспомнил, как замер, разглядывая стекающие по рукоятке капли. Что произошло дальше — никто не понял. За эти дни они еще не успели протрезветь настолько, чтобы все это обсудить. Только картинка в голове, как этот бежит к ближайшему подъезду, бормоча что-то на своем языке. Как он мог бежать? Может, показалось? Пьяный угар? Нет, он помнил пик своего бешенства — это было уже в подъезде. Он не орал, он хотел просто убить. — Убить, убить эту тварь — снова застучало в голове, как в ту ночь.

— А почему я? — он уже не мог прятаться за маской беззаботной улыбки.

— А тебе доказательства что ли нужны? Ордер на обыск ни о чем не говорит? — в ухмылке Павла читалось раздражение вместе с досадой. Он как будто и не хотел особо заморачиваться, да работа такая.

— Насколько я знаю, мне адвокат полагается. Я ведь могу без него ничего не говорить?

Выражение досады сменилось безразличием.

— Можешь, конечно. Насмотрелись американских боевиков, адвоката ему. Раньше чем думал?

— Только в отделе все равно с нами придется пройти, — впервые подал голос второй, который был крупнее и, видимо, тупее Павла, — бумаги подписать должен, что мы приходили, протокол оформить нужно.

— Да и полезно тебе будет кое-что увидеть. Может, и адвокат не понадобится. Ну, а обыск мы сейчас должны провести. Понятых бы надо, Татьяна Борисовна. Видимо, соседей ваших придется будить.

Взглянув на мать, он заметил, что она будто постарела за эти несколько минут. Она не поднимала глаз на Славу. Она стояла, как тогда, когда он видел ее на воскресной службе в церкви. Она затащила его в тот раз только потому, что ему нужно было получить ее согласие на бойцовский лагерь. Взамен Слава согласился отстоять службу: пара часов скуки за три недели настоящей свободы — небольшая цена. Он с тоской разглядывал толстых теток в платочках (если они все посятятся — почему такого размера?) и странных мужиков с блаженными лицами. Неужели мать думает его таким способом изменить? Глупо. Кроме отвращения ничего. Ну и смех иногда берет, глядя, как они чуть ли не лбы расшибают в поклонах. А потом он увидел ее... как-то по-новому увидел. Они никогда не были близки: она постоянно его куда-то сдавала, перепоручала, избегала разговоров, редко обнимала. Но в тот момент она показалась совсем чужой и далекой, как из другого мира. В этом своем смирении, в этих шепчущих губах, складках на лбу — она была пугающе чужой. В тот момент ему стало так больно, так горько от своего одиночества. Он возненавидел ее Бога и всю его церковь. Возненавидел со всей детской беспощадной ревностью. И с каждым годом, с каждым очередным церковным праздником, с каждой новой книгой, которую она пыталась ему подсунуть, — эта ненависть только росла.

И сейчас она стояла перед ними, как тогда, в этой смиренной позе. Ему стало тошно и гадко, она была ему отвратительна, она всегда пыталась вызвать у него чувство вины, это бесило. Где же ее дорогой Бог? Что ж не поможет? Ах, ну да, ей-то он поможет, но не Славе. Ведь это же она любит Его. Раньше ее слова вызывали боль и обиду: “Славик, больше всех я люблю Бога, а на втором месте навсегда будешь только ты. Так должно быть у верующих, ты не можешь обижаться!” — Ну да, конечно. На втором месте у родной матери! Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер! — он жил этой идеей лет с двенадцати, с тех пор, как мать, по его выражению, вдарилась в религию, променяв на нее, — он с горечью повторял это, ратравляя душу, — его, Славу, единственного сына.

На зону не хочется. Хотя малолетка ему уже не светит, можно не бояться этого зверья, а по законам взрослой за его статью будут только уважать. Для некоторых, особо ценных в сообществе, специально есть фонд — из него на зону шлют деньги, технику. Он сам переписывался с одним таким: шесть только доказанных убийств в Воронеже, уже вторая судимость. За это свои его не забыли: ноутбук с круглосуточным интернетом — выкладывает фотки каждый день! Ну и ничего так — живет там, не напрягаясь вроде. Не все так страшно... Да и вообще пока рано еще волноваться, пока кроме учета у него даже условия нет, всё только грозятся.

Пришли соседи, он проводил их всех в свою комнату и вышел. Не хотелось всё это видеть. Книги выкинул, нож еще в ту же ночь спустили в канализационный сток, одежда, выстиранная на балконе — следов крови там не было. Пусть сами шарят. Сначала он подумал остаться — посмотрелся сериалов, где менты что-то подбрасывают по ходу обыска, но поразмыслив, решил, что это не его случай. Его же не в распространении подозревают. Да и Павел вроде нормальный мужик. Голова гудела, каждый шаг был в тягосте, хотелось сигарет и пива. Он вышел на балкон в гостиную. Уже светало, редкие снежинки исчезли, оголив грязные тротуары. Там снаружи было также паршиво, как внутри: грязно и холодно. Паника сменилась какой-то обреченностью. Он просто ждал. Сил не было спорить, что-то доказывать, отмазываться. Он долго стоял прищурившись в поисках решения, как вести себя дальше. Борьбась сил не было, да и глупо, обыск есть — значит зацепок достаточно. Но просто сдать ментам с чистосердечным и молча вздыхать — это не для него... После нескольких затыжек немного отпустило. Руки перестали дрожать, морозный воздух остудил голову. Вышел с балкона он уже с твердой стратегией. Он не будет опровергать того, что они уже доказали. Но и ничего нового им не сообщит. Только не с повинной, не со страхом перед этим волками!

В отделении было тепло и мрачно. Обыск ничего не дал, по пути в ОВД все трое молчали. Слава списал это уныние ментов на отсутствие у них прямых доказательств. Скорее всего, привод сведётся к подписанию бумажек. Бродя и порадоваться можно, но день уже был испорчен. Хотелось поскорее уйти отсюда, отоспаться и хорошенько напиться вечером с пацанами, поржать над ментовским проколом с книжками.

— Вадик, принеси там из сейфа конверт желтый, — Павел проводил парника взглядом, бросил на стул куртку и внимательно посмотрел на Славу.

Вадик вышел, и Славе стало как-то некомфортно от этого пристального взгляда. Отшучиваться настроения не было, скорее, хотелось наругать. Он начал рассматривать уже давно изученные щели в полу, свои кеды, запачканные джинсы.

— На, держи, — желтый объемный конверт глухо стукнулся о стол.

— Ну что ж, тогда приступим.

Последующие манипуляции не вызвали у Славы интереса, поскольку ни один, ни другой не обращали на него никакого внимания, и Слава решил, что конверт к нему отношения не имеет, а его подержат здесь подольше просто для профилактики. К этому он был уже привычный и постепенно начал задремывать в мягком старом кресле.

Но когда его окликнули и подозвали к монитору, что-то неприятно кольнуло внутри.

— Ты с креслом двигайся, полюбуйся с комфортом.

Несколько секунд на экране рябили черно-серые полосы, ничего не происходило. Потом появилось какое-то размытое изображение. Постепенно картинка выровнялась и выдала обзор лестничной клетки и, по-видимому, входной двери. Вид сверху, как будто через лупу, немного искаженный. Несколько секунд картинка просто висела, наконец дверь открылась и кто-то вошел. Точнее, вбежал. Через секунду показалось застывшее от страха лицо. Вбежавший пытался захлопнуть дверь, что-то кричал. Внезапно дверь снова открылась. Толкаясь, ввалились три фигуры и начали хаотично двигаться перед лестницей. Один оторвался и стал медленно подниматься по ступенькам, потряхивая каким-то предметом в правой руке. Его походка отличалась от метаний того, первого. Он шел твердо, вытянув шею и широко расставив руки. Пленка периодически чуть-чуть зависала, и картинка шла как будто в замедленном темпе. Двое других так и замерли почти у самого входа. Звуча не было, но Слава уже знал, что кричит этот здоровенный бритый бугай. Крупным планом, почти глядя на них с экрана, он занес свой нож и несколько раз с силой воткнул его в медленно сползающую по стене фигуру. Она сползла, как тряпичная кукла. Бугай пнул ногой лежащее тело и развернулся к другим двум прямо перед самым объективом. С экрана на сидящих в кабинете смотрел Слава.

\* \* \*

Оглашается приговор... согласно Уголовному кодексу Российской Федерации... дело номер... два года колонии общего режима... условно.

Из зала заседания начали медленно выходить присутствовавшие на слушании. Слава шел, растерянно слушая причитания матери. За последние месяцы он слышал это сотни раз: как она ездил с сумками еды к раненому в больницу, как отчим переводил ему деньги сразу на родину, потому что Сулейман боялся, что сам не выживет, а раз деньги предлагают — надо все переслать семье. Она столько раз пыталась потащить с собой Славу в больницу, чтобы он извинился, но после его резких слов, что он не сожалеет ни о чем, мать решила не рисковать и уладить все самостоятельно.

— Ну что, доволен своей “Минутой Славы”? — отчим ухмыльнулся собственной находчивости, но, встретив каменный взгляд, быстро отвел глаза.



# ВИНОЮ ВЫЖИВШЕГО\*

— Сильней закручивай!

— Я закручиваю.

— Ты не закручиваешь, я же вижу!

— Сказал же, закручиваю.

— Да ты мне всю жизнь говоришь! Хоть бы сделал что... Вздыхает он!  
Закручивай нормально, опять сорвёт, мне вытирать всё!

— Не кричи, я делаю.

— Не кричи ему! Да тебе хоть оборись — услышишь что ли?! Сколько кричала, чтоб пить бросил — услышал?!

— Ну не могу я не пить, ты же знаешь, ну не кричи, утро же.

— Почему я могу, а ты не можешь?! Устроился! Утро у него: половина первого! Уже нажрался! Нормальные люди пащут всюю!

Марина еще несколько минут попробовала не открывать глаза, но вопли матери окончательно прогнали сон. — Нормальные люди... Когда-то они еще могли бы претендовать на это звание. Когда-то давно, когда Марине было лет пять, и отец хоть и пил много, но только по праздникам. В разгар застолья он брал ее себе на руки и, обдавая неприятным запахом алкоголя и лука, начинал громко на весь стол рассказывать о том, какая его Мариночка самая толковая в группе, что будет, как мама её — самая завидная невеста. Руки у отца становились холодными и липкими, сидеть было неудобно, а от его поцелуев на щеках оставались влажные следы. Но всё это казалось совсем не важным. Она сидела с восторженной улыбкой самого любимого ребёнка на свете: папа ею гордится, говорит, что она будет похожа на её мамочку!

Очередные крики матери резко оборвали воспоминания о детском счастье. “Как же достали уже, надо дверь поменять. Хотя эта и через бронированную проорется. Да и денег на это всё равно нет”, — мелькнуло в голове. Образ матери вторгся в сознание: руки в боки, ноги расставлены, как у мужика, голова приподнята, готовая обрушить череду возмущенных претензий на каждого, попавшего в поле зрения её бегающих глаз. Видение окончательно заставило Марину открыть глаза и скинуть одеяло. От прикосновения к холодному полу стало зябко и неудобно. “Хорошенькую же перспективу ты мне предлагал, папочка,” — размышляла она, рассматривая себя в зеркальную дверь шкафа, с облегчением не обнаруживая следов внешнего сходства с матерью. О вчерашних посиделках напоминали воспаленные глаза и пародия укладки на голове. Она карикатурно себе улыбнулась, отражение ответило совсем не дружелюбно.

Судя по продолжающимся воплям матери, кран они так и не прикрутили. Кутаясь в старый свитер, она выглянула в коридор.

— Когда в душ попасть можно будет?

— Здрасьте тебе! Неужель проснулась? А чёй-то так рано? — мать, как паук, готова была переключиться на новую жертву, застрявшую в паутине её квартиры.

Марина вопрос матери проигнорировала, обратившись к открытой двери ванной:

— Пап, скоро закончишь?

— Да хрен его поймет, мать кран купила дурной, резьба слетает.

— Ах, это я ещё и кран не тот кушила?! — паук заметил остатки теплившейся жизни в первой жертве и поспешил закончить свою миссию. — Да ты б хоть раз зад свой поднял, да сам купил! За столько лет в доме никакого проку! Кран не тот! Руки у тебя от водки не те!

— Да я что, я кран, говорю, не наш. Импортный, не подходит сюда.

— Чем это тебе ихние краны не угодили?! Ты на него заработай сначала, а потом обхайвай!

Раздался треск, что-то звякнуло о ванну, послышался шум воды.

---

\* Вина выжившего — в психологии термин, обозначающий чувства человека, уцелевшего в катастрофе, в которой погибли другие.

— Да что б тебя, твою же...

В заключение отцовского мата обреченно прозвучало: “Не вышло, Надь, треснул”.

— Не вышло?! Замуж я б за тебя не вышла, тогда б всё у меня в жизни вышло куда надо!

— Ну, я так понимаю, отечественное производство рулит! — бросила Марина.

— Ишь ты, оживилась как! Мы уж и не думали тебя до ужина увидеть! — полная капитуляция отца добавила пауку новых сил, и он надвигался, потирая лапки.

— У меня выходной. Захочу — и до ужина спать буду. Я не трогаю никого. Если б не твои крики — спала бы дальше.

— Ну конечно, чем еще заниматься-то. Всю ночь шляется, потом спит сутками. Хоть бы раз за месяц в комнате разобралась, гадюшник развела, зайти страшно!

— А нечего заходить — это моя комната.

— Ещё ты мне указывать будешь, куда заходить в собственной квартире! Заработай для начала себе хоть на угол!

— Будешь трогать мою комнату — я её таджикам сдам, я тут прописана. Нечего было ту квартиру Мише отдавать, я бы с удовольствием облегчила вашу жизнь своим переездом.

При словах о Мише лицо матери исказилось болью и досадой, руки машинально опустились, и вся она как будто ссутулилась, совсем поникла. “Ну вот, опять сейчас начнется”. — Марине стало жалко мать.

— На кухне он. Иди, поговори, — голос матери звучал глухо, в нём уже не слышалось злости, скорее отчаянье и безысходность.

— Мишка?

— Случилось, видимо, что-то. Но молчит, тебя, может, ждёт. Ты поговори с ним? — взгляд у матери стал мягким, болезненным.

— Денег он, небось, ждёт, что еще у него случается? Вот и приехал. — Марина не выносила этот жертвенный образ мамы и с годами привыкла отсегать все сентиментальности жестким тоном и жестокой правдой.

Мать молча проводила её взглядом и машинально зашла в ванную.

— На, Коль, старый пока давай закрутим.

— Старый — это можно. А что он подтекает — да это я сейчас прокладку новую поставлю, лучше этого будет.

На кухне было холодно, пахло газом и кофе.

— Привет! — произнесла Марина как можно дружелюбней, стараясь вытянуть себя из утренней злости. — Как дела? — и, не дождавшись ответа, она начала включать остальные конфорки, потирая над плитой озябшие пальцы.

— Нормально. Сама как? — он по привычке не поднимал глаз от дымящейся кружки.

— Путём. Если б не эти — вообще неплохо.

— Да уж, мать жжёт. Я в детстве думал, у неё когда-нибудь голос кончится, и она всю оставшуюся жизнь шепотом будет разговаривать.

Марина улыбнулась воспоминаниям, как они в детстве прятались от матери в ванной, и как однажды замок заело, и они не смогли открыть дверь. В итоге отцу пришлось замок выламывать, а мать орала потом еще неделю.

— У этой не кончится. Я в детстве думала, что когда вырасту — никогда кричать на своих детей не буду. Но, чую, гены своё возьмут.

— Как работа? Всё пытаешься спасти мир? — ухмыльнулся Миша.

— А ты всё пытаешься спастись от мира? — попыталась уколоть она.

— Каждому своё, выживаем, как можем.

Марина насыпала кофе, залила кипятком и, развернувшись, села напротив брата.

— На какие деньги выживаешь-то? Воруешь? — почти с утверждением вывела она.

— Когда как. Где так, где приторговать перепадёт. Да всё как раньше. Тут вот дед подкинул немного, типа к дню рождения.

— Ну да, он говорил мне. Я его предупредила, что это тебе на похороны, — она шумно отхлебнула глоток и поморщилась.

— Все там будем.

— Ну, ты-то торопишься первым.

Она хотела продолжить стандартный обмен колкостями, но наконец, взглянула на брата, и внутри защемило. За последний месяц, который они не виделись, он сильно похудел. На отливающем голубизной лице его глаза казались стеклянными лампочками. Редкая щетина прикрывала обветренную, местами в мелких язвочках, кожу. После второго срока он два месяца лечился в туберкулезном санатории, но начавшие было появляться признаки жизни на его лице исчезли уже через пару недель, и сейчас ничто не напоминало о выздоровлении.

— На чём сейчас?

— Месяц чистый! — он широко улыбнулся, обнажив несколько новых дыр между зубами. После первого срока за грабеж мать отдала всю выручку с последней продажи на его имплантаты. Наивная, она надеялась, что тюрьма его изменит, а подремонтированная улыбка простимулирует найти приличную работу.

— Врёшь.

Он не ответил, неловко поднёс ко рту кружку, и стало заметно, что рука его не слушается. Он был похож на инвалида.

— “Винт”?

— Ух ты, профессорша, сечёшь. Где поднатаскалась? Это даже не наркотик. Захочу — брошу.

— Ну да. Я это каждый день слышу. Лечиться не надумал?

— Да всё нормально, расслабься! — нотации ему порядком надоели. — Проходили уже, Марин. Работай на работе.

— Извини. Это, скорей, вопрос риторический.

На кухне повисла пауза. Миша так и не отрывал взгляда от кружки, потирая её бледными пальцами — на костяшках выделялись многочисленные старые шрамы. В подростковом возрасте Мишу отдали на скалолазание, где он быстро освоился и заслуживал частые похвалы. Родители, поверив в способности сына, готовы были оплачивать и дорогостоящее снаряжение, и выезды на соревнования, несмотря на средний доход семьи. Младшей по возрасту Марине становилось завидно. Ей тоже хотелось, чтобы на неё что-то тратили, радовались успехам, подбадривали. Но денег на занятия для дочери не оставалось, в связи с чем никаких “тантов” у неё выявлено не было. Марина надеялась, что в чем-то сможет отличиться, но в школе она была из середнячков, а бесплатные кружки предлагали только бисероплетение и шитье. Всей семьей они приходили на соревнования поболеть за Мишу, и Марина с тоской переводила взгляд с восхищенных родителей на карабкающегося все выше и выше брата. Ей хотелось тоже залезть высоко, ещё выше него, выше всех них, чтобы они задирали головы, чтобы увидеть ее. И тогда в ней родилась та самая детская, но совсем не девчачья мечта. Космос. Выше всех, даже выше этих альпинистов, поднимались только они в своих огромных кораблях. За их подъемом следят на мониторах сотни людей, а по телевизору и целый мир. От одной мечты о таком полете у нее замирало сердце.

Как идти к своей мечте, Марина не знала, и никто ей не мог подсказать: мечта была сокровенной тайной. Поэтому Марина просто ждала. Ждала, что оно обязательно как-то получится, что мечта сбудется и поможет ей тоже заслужить восхищенные взгляды... Ей так хотелось стать лучше Миши, хоть в чем-то.

Судьба помогла Марине стать лучше брата, но совсем другим способом. В то время, пока она ждала исполнения мечты, в школе заключили договор с социально-психологическим колледжем, куда Марина и отправилась после девятого класса. А из колледжа предлагалось без экзаменов попасть на вечернее отделение института. Космос почему-то все не появлялся в ее жизни, как и сами космонавты. Зато начали появляться мотоциклисты. Не заменят, конечно, но тоже в шлемах и “летают”. Жизнь вела Марину вперед. Мысль

об институте немного пугала: в их семье ни у кого высшего образования не было, и насколько все будет сложно или интересно, никто рассказать не мог. Но надежда на то, что ее тоже наконец похвалят, манила. Миша к тому времени застрял на уровне училища. Сначала бросил одно, потом исключили из другого, и он год отдыхал, в третьем у него “не сложились отношения”. Родители списывали неудачи сына на загруженность тренировками, но вскоре выяснилось, что тренировки Миша посещает так же, как и учебу. А потом... Потом всё закрутилось.

Марина безумно уставала на последнем курсе колледжа, постоянно подрабатывая вечерами. Она периодически замечала странные компании брата в квартире, но на ее жалобы мама не реагировала: “Мише необходимо отдохнуть!” Да вроде ребята и не пили у них дома, просто общались. Со временем Марине начало казаться, что она стала рассеянной: не могла найти вещи, куда-то засунула новый плеер, потеряла сережки, деньги все время улетучивались из кошелька. Она старалась дольше спать, завела записную книжку с напоминаниями, подсчитывала траты. Но когда к ней обратилась мама с вопросом о пропаже шкатулки со скромным содержимым из двух золотых цепочек и обручального кольца, уже не налезавшего на палец, они обе напряглись.

Сначала подумали на выпивающего отца. Но мать всегда оставляла ему деньги на алкоголь, и ему вроде хватало. Пил он запоями, раз в два-три месяца, а деньги и ценности пропадали регулярно. Мать валила все на дружок Миши, гневно обижаясь на попытки Марины “очернить” брата. А потом Марине уже и не пришлось спорить и ругаться. Реальность обрушилась на мать. Миша резко похудел, у него побледнела кожа, настроение менялось от благодушного безразличия до ярости, он постоянно “терял” телефоны, просил деньги “выручить друга”, не оставляя матери возможности для отказа своими криками и ударами кулаков о стену. В доме появлялись чужие люди, никогда не смотревшие в глаза, деньги и ценности приходилось прятать, на дверях поставили замки, которые постоянно “ломались”. Мать отказывалась принимать реальность, даже обнаруживая в ведре шприцы. А потом им позвонили из больницы, куда Мишу забрали с передозировкой. И диагноз в карте не оставил вариантов.

Дальше были споры, крики, пропажи, платные клиники и побег, мамины слезы и Мишины шантажи, мольбы, просьбы, обещания. Бесконечная вереница, затянувшаяся на несколько лет. Марина разрывалась между институтом и работой в школе, стараясь полностью себя обеспечивать, понимая, куда уходят все средства родителей. Она старалась поддерживать мать, воздействовать на брата, выбрала в институте специализацию по работе с зависимыми, чтобы лучше понимать происходящее и помочь Мише. Она очень старалась ничем не огорчать родителей, чтобы хоть с ней у них не было проблем, хотела дать им повод для радости. Но, поглощенные бедами сына, отец с матерью были не в состоянии замечать дочь. И опять все их внимание было приковано к Мише, только теперь уже к его падению. Когда Марина прилетела домой с заветной “корочкой” диплома о высшем образовании, единственной в их семье мама со слезами выдавила: “А Миша-то, ведь и Миша бы тоже мог! Как же это мы не уследили...”

Сейчас она смотрела на него, и ей первый раз за долгое время захотелось о нем поплакать. Было понятно, что он не выдержит слез и уйдет, но они уже полились. Она оплакивала их детскую дружбу, его заботу о ней и защиту в школе, его стремления и победы, свою детскую ревность и обиды. Она оплакивала все то, что уйдет вместе с ним, уже совсем скоро. Она оплакивала свое будущее одиночество и это не покидающее чувство вины за свои успехи, свои планы и мечты, вины за свою жизнь, которая у нее будет, а у него нет.

Миша увидел слезы и без слов ушел в родительскую спальню. Она еще несколько минут беззвучно плакала. Сейчас она пойдет в свою комнату, наденет новые джинсы и свежестырированный белый свитер. Она уложит упрямые рыжие волосы, вставит в нос пирсинг с золотой ласточкой, капнет на запястья любимые духи. Она выйдет из дома, поймает частного и поедет в

турагентство доплатить за поездку на Мальту. Потом встретится со своим “космонавтом”, будет кататься по летней Москве, проведет с ним ночь и, счастливая пробуждением с той дремотной утренней негой, поедет на работу, попытается спасти кого-то, как не смогла спасти его.

Он выкурил оставленные отцом сигареты, выпросил у матери еще немного денег и, сев в дребезжащий троллейбус, поплелся на окраину Москвы, в свою квартиру, коротать день в окружении таких же, как он, даже не загадывая, наступит ли завтра.

## МАМЫ

— А имя твое, знаешь, почему такое?

— Да знаю, дед!

— Богдан — Богом данный.

— Да я знаю, дед, сто раз говорил!

— Бог — он в душе у каждого, вокруг нас, в каждом дне. Во всяком деле Он с тобой.

Беседы деду с каждым годом становились все скучнее, эпизоды и шутки повторялись, и взрослеющему Богдану компания старика уже начинала казаться тоскливой обязанностью.

— И потому в церковь ходить нужно, чтобы поближе к Богу-то быть, — продолжал дед, обращаясь к разложенной на столе гречневой крупе. Кожа у него на ладонях была мозолистой, и, казалось, пальцы уже не могли до конца разогнуться, не прорвав эту тугую подошву. Гречка оказалась никудышней, и дед все время качал головой, выбирая дрожащими пальцами черные зерна.

— И люди там, в церкви-то, они душою светлей, помогут они, если что, добрей они, в сердце.

В ответ на слова о доброте людей память Богдана начала прокручивать эпизоды воспоминаний. Ему было лет шесть, когда они с матерью и крестной поехали в Углич к родным. Городок был теплым, приветливым. Они весь день гуляли по его паркам и зашли на вечернюю службу в церковь. Богдан уже знал, зачем нужны церкви, умел креститься и ставить свечи с очень серьезным лицом. Эта была не похожа на их московскую: низкие потолки, тусклые деревянные иконы в потрескавшихся рамах, наваленные на лавках пакеты и свертки, и всего человек пять прихожан, которые недобро уставились на них. Богдану церковь не понравилась, даже рассматривать было нечего, и его скользивший в поисках чего-то особенного взгляд остановился на маме. Мама стояла чуть сбоку, и через узкие окошки на нее падали мелкие лучи света, начинавшие бегать по лицу и платью всякий раз, когда снаружи ветер шевелил деревья. Богдан смотрел на маму с восхищением и любовью. Она была такая красивая, улыбочивая, к ней так хотелось подбежать и обнять... Но он знал, что в церкви нужно стоять тихо, и продолжал вздыхать от скуки, переминаясь с ноги на ногу.

Потом к крестной подошла какая-то тётка и что-то спросила. Крестная едва мотнула головой и отошла. Тётка постояла и направилась к маме, и Богдан с любопытством начал осторожно пододвигаться к ним, чтобы лучше слышать.

— А вы свечи брать будете?

— Нет, спасибо. Мы еще завтра зайдём, поставим.

— А?

— Нет, спасибо! Сегодня не будем.

— Не нужны вам свечки?! — тётка так посмотрела на маму, что Богдану показалось, будто мама сделала что-то плохое и на нее сейчас наругаются. Он поскорей поторопился взять ее за руку.

Через пару минут тётка вернулась и встала перед ними, наклонившись к Богдану.

— На вот, держи, раз они не могут тебе купить, — громко и злобно сказала она, протянув погнутую красную свечку. — Пойдем, поставим Казанской.

Богдану идти не хотелось, но мама молчала, и он решил, что свечку поставить нужно, раз дают. Тем более, тётка так громко говорила, что он боялся, что она все-таки наругается на маму, если он не поторопится. Тётка согнулась и обхватила Богдана за плечи. Её волоски неприятно щекотали щеки, изо рта противно пахло. Через пару шагов Богдана осторожно потянули назад. Обернувшись, он с облегчением увидел маму.

— Не надо, спасибо.

Но тётка ухватила за Богдана еще сильнее и заговорила еще громче:

— Не трогай ребенка! Как себя ведешь в церкви! Позорище!

— Нет, это вы уберите руки от моего ребенка! — мама теперь говорила жестко и тоже громко.

— Да ты что творишь?!

— Уберите руки от моего ребенка! Он чужого брать не будет и никуда с вами не пойдет!

Растерянного Богдана тянули в разные стороны, свечка выпала, и освободившейся рукой он ухватился за маму, боясь, что одна она без его помощи с тёткой не справится. Мама сгребла его в охапку, подняла на руки и, крепко прижав, развернулась к выходу. А тётка всё не успокаивалась, шла за ними и почти кричала:

— Свечку купить не могут! И не стыдно так в церкви-то себя вести! Пример какой ребенку! Приехали тут!

— Не надо трогать нашего ребенка, он приучен у чужих людей ничего не брать! — вступилась крестная.

— А ты кто такая? Как воспитали-то!

— Меня очень хорошо воспитали, и вам дай Бог так своих детей воспитать...

Дальше разговора Богдан уже не слышал, только испуганно смотрел через мамино плечо, как тётка ругалась на крестную. Мамино плечо пахло вкусно, и щека терлась о ее мягкую шею. “Хорошо как, что у меня и моя мама есть, и крестная мама. Вместе они точно сильнее тётки!” — размышлял он, укачиваемый теплыми любимыми руками...

Детские воспоминания опять подняли внутри какую-то тревогу. В последнее время он все чаще чувствовал ее. Иногда она даже перерастала в страх и спускалась к самому животу. Почему и откуда она появлялась, Богдан не мог понять, и от этого еще неприятней становилось. От родителей он постоянно слышал про переходный возраст.

— Дед, а я вот что-то маму не очень помню, когда совсем маленький был. Работала она что ли много?

Дед продолжал перебирать гречку, как будто и не слыша.

— Де-ед! Про маму спрашиваю, почему не помню? — повторил Богдан в самое ухо.

— Да слышу я. На-ка вот, собери, что осталось, — он протянул банку для крупы, а остальное сгреб в кастрюлю. Богдан вяло ссыпал не отобранные зерна в банку, ожидая очередной истории деда. — Да вот, как тебе сказать. Вроде уже взрослый ты у нас, вымахал какой, понимать должен.

— Чего понимать?

— Да про маму понимать, — дрожащие руки несколько раз безуспешно чиркали спичками о коробок, но искра не появлялась.

— Дай я! — спичка ловко скользнула по картону, озарилась пламенем, и конфорка засветилась сине-оранжевыми языками.

— Вот помощник, говорю, вырос ты уже, двенадцать-то лет!

— Тринадцать, деда. Двенадцать в том году было, когда велик подарили.  
— Ну да, тем более, тринадцать уже, поймешь.  
— Что пойму?  
— Да про маму. Они, видно, закрутились совсем, сказать тебе забыли.  
— Да кто они? И что сказать?! — Богдан уже начинал злиться на деда, постоянно забывавшего суть разговора. Последнее время даже свои древние истории он рассказывал запутанно, сбиваясь с одной на другую, и Богдан сам нередко подсказывал ему продолжение сюжета.

— Не твоя она.

— Кто? — Богдан так углубился в свои размышления о деде и его старости, что забыл, о чем шла речь.

— Мама твоя... Она не твоя, понимаешь?

— Ты чего, дед? Как это? — в горле снова появилось то странное ощущение. “Наверное, это от грусти, что дед совсем старый стал и глупеет. Такую ерунду иногда говорит!” — Богдан постарался отогнать неприятные мысли.

— Когда родился ты, другая у тебя мать была. Она тебя родила, но не сложилось у них потом с отцом. Вот другая мама тебя и растила.

Богдан замер и не мог понять, что он чувствует.

— Это как же это, дед? — говорить получалось плохо, то странное ощущение, как будто сдавило горло, и слова прозвучали почти шепотом. — Как же так вышло?! Ты путаешь что-то!

— Ну, как вышло... Что поссорились-то? Ну, бывает так, ты уж должен понимать. Любили они друг друга. Потом Женька у них появился. А потом выпивать она начала. Негоже это, женщине-то пить, понимаешь? Мы тогда еще все в Кузовке жили, деревня значит. А там же не как тут, в Москве, там все всё видят, не утаишься. Соседи-то шепчутся, переговариваются, отцу потом все слухи доносят. А Женька не понимает, маленький еще. Как брошенный он был совсем.

— Кто он? — слова деда звучали, как из радиоприёмника. Как будто кто-то там, за ящиком, рассказывал очередную запутанную историю.

— Женька-то, маленький когда был.

— Да кто это?! — на какое-то мгновение Богдан подумал, что дед и правда рассказывает историю про кого-то чужого, про далекого мальчика и его пьющую маму.

— А, ну да, ты же его не запомнил, наверное. Брат твой — Жёня. Первенец у них был. Добрый такой малыш, а глаза все время грустные, — с такой-то матерью.

— Брат? А как же Лёша?

— Лёша, он не твоего отца сын, это сын мамы, которая вырастила тебя. Когда она с отцом твоим сошлась, лет девять ему было, на год старше Жёни.

— Так Лёша не брат мне?!

— Ну не родной, а так брат — сводный. Вместе же росли, у одних родителей. А Жёня родной. Когда Ксения, это мать-то твоя, которая родила тебя, вот когда она совсем спиваться начала, отец твой её к бабушке повез, к святым местам. Это он ее так вылечить всё хотел. Да ты не хмурься, большой уже, понимать должен. Вот вернулись они оттуда, а она, значит, забеременела. Это тобой, значит. И как она тут преобразилась вся! Помогли видать, в церкви-то. Пить бросила, приветливая такая стала, ухоженная, с Женькой целыми днями возилась, в школу его готовила. И он-то как радовался, что мамка его так изменилась, сиял весь, когда с ней по улице шёл.

— А что с ним стало?

— С Жёней то? Ничего не стало, тьфу-тьфу, жив-здоров, слава Богу!

— А где же он?!

— Так где был, там и есть. Он ведь с ней остался, с Ксенией.

— Как остался?! А как же я? — внутри как будто всё тонуло, ускользало. С каждым новым словом деда словно открывался другой мир или, наоборот, рушился его мир, такой любимый, понятный, привычный. Перед глазами возникла картинка женщины с ребёнком, которые как будто на дру-

гом берегу машут ему рукой, но к себе не зовут. А он проплывает мимо. Им так хорошо вдвоём, они там вместе... И ему вдруг так туда захотелось...

— А почему я не с ними?!

— Ну, так ты и досказать не даешь. Не с ними... С папой ты остался, а он с ней. Ты когда родился — праздник какой для всех был! Здоровый, крепкий — она ведь всю беременность не пила, не курила, как чудо какое. Вот тебя так и решили назвать, мол, Богом ты послан им был, понимаешь? Богом дан. А через год снова пить начала, да только хуже прежнего. Вас с Женькой бросит и уйдёт. А он с тобой на руках всё ко мне прибежал. Маша моя слегла тогда, бабушка- то ваша, я и не выходил почти из дому, за ней смотрел. Вот притащит тебя Женька, а сам плачет, за мать переживает. Я накормлю вас, тебя уложу, а его в магазин пошлю или на почту там, принести что. Помощник он был мне в то время. Вот за хлебом, помнится, пошлю, а он часа на два пропадёт. Прибегает, весь запыхавшийся, сандалии пыльные. И я, значит, соображаю, что это он мать опять бегал-искал по всей деревне. А мне говорить не хочет, стыдно ему за мать. Так вот почти год и жили. Пока она на три дня не пропала. Ее потом участковый привез на машине своей, чтоб народ-то не видел позора. Она грязная вся, без обуви, в чужих лохмотьях, пьяная. Ну, тогда отец твой не выдержал. Пошел на следующий день на развод подавать. А самому тяжело, сколько лет вместе, всё жалел ее...

Дед застыл, глядя куда-то поверх Богдана... А у того в голове как будто появилась недостающая деталь мозаики. Ему казалось, что он начал вспоминать те эпизоды, о которых говорил дед, — фрагментами, вспышками... Синие с красным сандалии с оторванными ремешками, сбитые колени, светлые кудрявые волосы. Но все это как будто со стороны, как не его. “Наверное, это был Женья! Наверное, я его помню!”

— А сандалии у него, они какие были?

В глазах деда застыли слёзы, а голова монотонно покачивалась.

— Чего говоришь-то? — он достал наглаженный по старой привычке платок и приложил его к глазам. — Заболеваю я, похоже. Вот... заслезился совсем.

— Сандалии у Жени синие с красным были? Еще с ремешками оторванными!

— Сандалии? — дед никак не мог переключиться со своих мыслей обратно на разговор. — У Жени-то? Да откуда ж я помню, какие они были...

— Жалко... — Богдану показалось, что очень важно узнать про сандалии, что от этого так много зависит.

— Хотя, наверное, порванные были. Ксения-то совсем уже за вами не смотрела. Так и ходил он, в чем придется, пока отец не заметит. Нелегко тогда всем было.

На кухне снова повисла пустая тишина. Вода закипала, но мальчик и дед как будто и не слышали позвякивания алюминевой крышки.

— Маша моя совсем при смерти была. А отец твой мне так и говорит: “Мне, пап, от стыда не скрыться в деревне. Только мама и держит, не могу вас тут одних бросить”. — Дед помолчал несколько минут. — А потом умерла бабушка ваша. Как сорок дней справили, так он переезжать надумал. А Ксения помаленьку соображать начала, что детей он забрать у ней хочет, вас с Женькой. И давай тогда она Женьку жалобить. Все плакалась ему, как она одна пропадет, как не управится с горем. А он не знай как, все утешал ее. Да возьми и скажи ей: “Я тебя, мамочка, ни за что не брошу! Я тебе обещаю!” — это он мне в тот же вечер рассказал, что матери пообещал. А сам плачет: и мать ему жалко, и с отцом быть хочет.

— Значит, он все-таки маму выбрал? А я как же? А меня — меня не спросили? — Богдан не понимал, что с ним происходит. Ему хотелось то расплакаться и спрятаться в угол, то кричать громко-громко, разломать все, а то убежать далеко, чтобы никто не нашел.

— Да тебе два года было, кроха совсем! Как отец все устроил, так решил переезжать с вами. А Женька — ни в какую: плакал, кричал, из дома до самой ночи уходил. Ну и не выдержал, отец-то. Решил время дать ему:



пусть, мол, успокоится. Думал, будет навещать его, так тот сам и попросится. А тебя он Ксенин не оставил. Боялся, не уследит. Вот и решили мы с ним: вдвоем уж как-нибудь управимся. Так и переехали в Москву. Первое время к нам Настя часто приезжала, крестная твоя. Она ж папе твоему сестра двоюродная. Переживала за нас: как мы, два мужика, с ребенком управимся. Приедет, бывало, на выходных, и весь день от тебя не отходит. Игрушек навезет, в парк сводит — баловала, одним словом. И все папку твоего пилила, что, мол, без матери мальчишке нельзя расти.

— А мама, мама приезжала к нам?

— Какой там! Он ни адреса ей не дал, ни телефона. Боялся очень. Ты первые дни все плакал, искал ее. Вроде ж ведь когда жил с ней, она и не видела тебя почти: пила да гуляла. А ты всё же тосковал по родной душе. Вот отец и боялся, что увидишь мать — совсем тяжело станет. Так тебя больше к ней и не возил.

— Никогда?!

— Да вот, выходит, никогда. Да и сам он со временем всё реже в деревню выбирался. Сначала Женьку хотел забрать, переживал за него. Но тот никак, уперся, маму решил оберегать. Ну и успокоились на том: Женька с ней, а ты с отцом. Он его раз в месяц навещал, игрушки возил, одежду. Постарше стал — и денег подкинет, не бросал, в общем. Он уж теперь и в армии отслужил. Отец мне его фотографии показывал, гордится.

— Так они и сейчас общаются?

— Конечно, что ж им не общаться — сын все-таки.

Дед не стал расписывать внуку, как его отец искал себе новую жену, как мучился, приглашая в дом то одну, то другую. Самому деду ни одна не нравилась: все они, когда Богдана видели, как будто разочаровывались... Не хотелось им чужого ребенка. Да и понятно оно — зачем им в придачу к мужику неродной малыш. А потом появилась Вера. Деду она сразу понравилась: взрослее всех предыдущих, серьезная, рассудительная. И, главное, глаза у нее добрые, задумчивые. Как в дом пришла — так как будто всегда с ними и жила. И с Богданом как ловко управлялась. И Насте она понравилась — подругами стали. Настя деда подбивала повлиять на сына: мол, чем не пара, женился бы. А сын всё как-то мялся, отмалчивался. А раз приехал, видимо, со встречи с ней, весь взволнованный:

— Пап, разговор у меня к тебе. Совета твоего спросить. Хочу на Вере жениться.

— Ну, и слава Богу! Чего тянуть-то! Хороша она, и Богдану с ней хорошо.

— Подожди, тут проблема есть.

— Да ну навывдумываешь еще, чего там у вас?

— Ребенок у нее. Уже большой, девять лет.

— А где ж это он?

— С ней живет, в ее квартире. Вот сегодня знакомиться ездил, Алексеем звать, славный вроде паренек.

— А чего ж тогда проблема?

— Ты думаешь, не страшно? — глаза сына засияли с облегчением. — Я за Богдана переживаю, как ему-то будет?

— Да ну брось ты, малой он еще. Привыкнет, как к родному, и не вспомнит потом.

В круговерти переездов Богдан и правда попривык. Одно время подолгу молчал, всё прислушивался к чему-то. Но и это постепенно прошло. Первые месяцы дед часто забирал Богдана на выходные к себе, старался дать передохнуть сыну с невесткой. Но постепенно Вера начала все больше привязываться к малышу и настойчиво просила детей не разлучать: вместе с ними обоими и в парк, и в лес, и на море. И жизнь потекла спокойно. Впервые после смерти Маши деду показалось, что все налаживается. Бывали и ссоры. Да у кого же их нет. Но так они с годами привыкли друг к другу, что все уже само текло, как будто так и должно быть.

Дед посмотрел на совсем потерянного внука. И жалко его стало, и вроде большой уже. Забился в угол, как воробей взъерошенный.

— Как же так, деда?

— Ну, вот так в жизни вышло. Всякое бывает, понимаешь. Ты не тоскуй, уж как получилось.

— Ведь они должны были мне рассказать! Обязаны были! Как же это они?!

— Да не хотели, чтоб переживал ты! Как лучше ведь хотели.

— Кому лучше? Они ведь знали! Это ведь... Это ведь получается, все знали? Все вы знали?! — Богдана пронизывала боль от такого предательства близких.

— Да мы ж за тебя боялись. Что ж не поймешь никак, чудака-человек!

— И крестная, значит, Настя, тоже знала? — он уже не слышал деда, а только перебирал в памяти всех родных и друзей семьи, пытаясь разобраться, кто из них тоже знал, но молчал.

В дверь позвонили. Два коротких, один длинный. “Это она! — мелькнуло в голове у Богдана. — Она всегда так звонит, чтоб дед чужим не открывал!”

— Откроешь? — дед несколько мгновений вопросительно смотрел на погруженного в свои мысли внука и, кряхтя, пошел открывать сам.

“Это всё неправда!” — вдруг озарило Богдана. Сейчас она войдет, его мама, и все это окажется глупой историей старого деда. Она посмотрит на него, и все сразу станет ясно.

— Привет, Вера!

— Вы чего так долго не открываете?! Я уже подумала: случилось что! А ты чего такой хмурый? Подростковый бунт на корабле? — она ласково улыбнулась Богдану.

— Ты... ты почему мне не сказала? — он хотел, чтобы вопрос звучал твердо, по-взрослому, чтобы она не смогла соврать. Но голос дрожал и звучал пискляво, как у девочки.

— Что не сказала, родной мой? — она нежно смотрела на него, одной рукой пытаясь расстегнуть босоножку. — Ноги совсем отекли: осень на дворе, а жара какая!

— Никакой я тебе не родной! — сдавленно прохрипел он.

Все внутри напряглось, как пружина. “Скажи, что это все не так! Ну же! Скорей, скажи, что дед совсем глупый стал! Ну, чего же ты!” — мысли пронесли в его голове, пока она поднимала взгляд от непослушного ремешка.

— Что ты имеешь... — ее глаза встретились с глазами Богдана, и взгляд начал медленно напрягаться, как будто пытаясь что-то рассмотреть. Она резко повернулась к деду, и лицо ее застыло с выражением страха. Дед растерянно отвел глаза, потирая затылок. Мамин взгляд снова вернулся к Богдану и замер... Все его надежды разбились. Всё было правдой, дед не врал. Он всё прочел на ее лице.

Вера осторожно стянула босоножки, захлопнула входную дверь и прошла на кухню, сев напротив Богдана. Дед выключил свет в коридоре и медленно поплелся за ней.

— Ты теперь всё знаешь, да?

Богдан смотрел на её лицо, не чувствуя внутри ни тепла, ни нежности. Волосы у нее прилипли ко лбу и щекам, под носом выступили капельки пота, а кожа неравномерно покраснела. Она тяжело дышала, и от нее пахло пыльной улицей. Ее вснушчатые руки нервно потирали край стола, и он задержал взгляд на мозолистых от стирки красных пальцах с заусенцами у основания коротко остриженных ногтей.

— Нам надо всем поговорить.

Они снова встретились взглядами, и она поспешно отвела свой в сторону убегающей на плите каши. Он увидел много мелких морщин вокруг ее едва подкрашенных глаз. Они разбегались лучиками от носа к вискам и вниз к щекам. Они бежали по всему лицу, исчерчивая едва заметной паутинкой ее лоб, щеки, подбородок. Он смотрел на ее бледные тонкие губы, которые что-то произносили, и морщинки вокруг них. Он заново изучал это чужое лицо.